

ИРИНА В. ТРОЦУК¹

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
КАФЕДРЫ СОЦИОЛОГИИ
ФАКУЛЬТЕТА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

«ТЕКСТЫ» И «ЗНАКИ»: КРИТЕРИИ ВЫБОРА АНАЛИТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

РЕЗЮМЕ. На протяжении двух с половиной десятилетий понятия «нарратив» и «нарративный анализ», «дискурс» и «дискурсивный анализ», «текст», «знаки» и «семиотический анализ» стали весьма популярны среди исследователей в области гуманитарных и общественных наук, но все еще не получили четких определений и трактуются достаточно произвольно, исходя из концептуальных и методических предпочтений исследователя, а также стоящих перед ним целей и задач прикладного или фундаментального характера. Автор предлагает способ структурирования поля текстового анализа в социологии, способ который превосходит и самые широкие трактования метода анализа содержания. Несомненно, необходимо выработать четкие критерии хотя бы номинации разных форматов исследовательской работы с текстовыми данными, иначе рискуем получать не научные статьи, а «оригинальные дискурсивные коллажи», искусно жонглирующие многозначной и разнообразной терминологией текстового анализа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тексты; знаки; социальные практики; повествование; повествование анализ; дискурс; анализ дискурса; контент-анализ; семиотический анализ.

¹ irina.trotsuk@yandex.ru

Рад је примљен 18. августа 2014, а прихваћен за објављивање на састанку Редакције Зборника одржаном 22. септембра 2014.

В последние десятилетия XX века социально-гуманитарное знание сотрясли два новых «поворота» — «визуальный», обративший внимание исследователей в рамках разных дисциплинарных направлений на возможности изучения визуального как маркера и проявления социальных практик, и «нарративный», лейтмотивом которого стало утверждение, что функционирование различных форм знания можно понять только через рассмотрение их повествовательной природы. Фактически нарративный и визуальный поворот дополнили уже вполне институционализированное в рамках научного дискурса требование «лингвистического поворота» считать исследования в области социальных, политических, психологических и культурных проблем языковыми, поскольку социальные практики имеют текстовый характер, т. е. конституируются и структурируются разнообразными дискурсами, которые нередко вступают друг с другом в сложные отношения на грани острых противостояний в борьбе за «определение ситуации». Лингвистический поворот, или тенденция рассматривать факты как «репрезентации» дискурсивных механизмов (Копосов, 1997, с. 37), а человеческую жизнь как «автолингвистический феномен» (Löfgren, 1981), сместила центр тяжести исследований от массовых к индивидуальным образованиям: «человечество близко к тому, дабы впервые реально представить себя во всем своем физическом, гендерном, возрастном, культурном, этническом и социальном многообразии» (Кузнецов, 2000, с. 58–60).

Обращение к текстовому «измерению» социальной обострило целый ряд традиционных научных дискуссий, например, о степени конвенциональности значений: любая текстовая деятельность — это цементирование смысловой информации намерениями субъектов общения, а потому лингвистические конструкции вторичны и инструментальны относительно коммуникативно-познавательных задач и могут свободно варьировать сообразно таковым, порождая все новые интерпретации. Вторая очевидная проблема — различия тематических приоритетов, методологических подходов и технических приемов разных версий текстового анализа, которые обусловлены предметно-методическими ориентациями конкретных наук. Скажем, литературоведение пытается увидеть в текстах типические и только намечающие черты социокультурной реальности исторического времени; психолингвистику интересуют механизмы семантических изменений, обеспечивающих включение новых

объектов в культурно-языковой контекст (например, посредством метафоризации); для социологии текстовые объекты — прежде всего, «маркеры» социальной принадлежности и индикаторы взаимных ориентаций участников конкретного коммуникативного взаимодействия в заданной ситуации (Franzosi, 1998, p. 518).

В многоголосице современного текстового анализа в широком смысле этого слова (как совокупности аналитических приемов изучения любых «текстов», в качестве которых могут выступать вербальные, невербальные и визуальные «сообщения») сегодня отчетливо оформились три «лидера», судя по частоте упоминания соответствующих словосочетаний в научной и публицистической литературе — нарративный анализ, дискурс-анализ и семиотический анализ — хотя четкие рекомендации относительно их предметного поля и области применения, не говоря уже об однозначных дефинициях, сложно обнаружить даже в прикладных исследовательских проектах с ярко выраженной социально-критической ориентацией. Попробуем обозначить принципиальные для разведения данных трех внутренне неоднородных аналитических подходов демаркационные линии, ориентируясь преимущественно на эмпирическое их использование в рамках социологических исследований.

Итак, социологический интерес к нарративу объясняется его способностью «давать выход стремлению человека к самомоделированию, дарить ему опыт непривычной податливости мира и ощущение безграничного потенциала собственного саморазвития» (Семейные узы, 2004, с. 62). Как и прочие версии текстовых «поворотов», нарративный основан, во-первых, на отказе современной науки от мечты об исчерпывающем знании (Пригожин, 1991), принятии идеи нестабильности и признании темпоральности, которые формируют новое отношение к миру, предполагающее сближение деятельности ученого и литератора: «нарративное знание выражено в различного рода повествованиях... не придает большого значения вопросу своей легитимации, подтверждает само себя через передачу своей прагматики и потому не прибегает к аргументации или приведению доказательств» (Луман, 2004, с. 69–70).

Во-вторых, нарративный поворот подчеркивает перенос интересов науки с анализа объективных социальных явлений на исследование субъективности «в связи с осознанием человека как активного социального субъекта, под влиянием которого осу-

ществляются основные преобразования как в макро-, так и в микромире» (Бутенко, 2000, с. 3). По мнению М. Фуко (1994, с. 372), «наука о человеке возникает только там, где мы рассматриваем тот способ, которым люди представляют себе общество, ... тот способ, которым они интегрируются в это общество или изолируются от него, ощущая себя зависимыми, подчиненными или же свободными». Нарративный анализ ставит перед собой задачу через (авто)биографические повествования информантов реконструировать и объяснить «эти способы».

В-третьих, нарративный анализ базируется на трактовках сознания как совокупности текстов, признает невозможность однозначной интерпретации какого бы то ни было текста и характеризует общество и культуру как единство размытых, децентрированных структур, что характерно для большинства постмодернистских концепций (Кузнецов, 2000, с. 56–57). Они предельно обострили «проблему текста», «проблему познания», отметив опосредованное отношение текстовой реальности к «отображаемому» ею внешнему миру, и, таким образом, «проблему человека» как источника множества интерпретаций. Все это привело к тому, что в рамках социально-гуманитарного познания сегодня «вместо построения теоретической модели средствами собственного языка и следуя путями уже заданных правил, исследователю предстоит изучить социальный мир в его фрагментарном состоянии» (Добрякова, 2001, с. 46–47), следуя правилу неотожествления изображенного в текстах мира с действительным (наивный реализм), а автора-творца произведения — с автором-человеком (наивный биографизм). Поскольку исследователю по определению человек и ему крайне сложно контролировать «свое человеческое» в рамках объективного научного анализа, постмодерн проблематизировал и позицию ученого: «с одной стороны, он призван научно изучать общественное бытие и сознание, с другой — он сам является членом изучаемого общества... и его процедуры интерпретации лишь частично оказываются строго логичными и научными, а в основном опираются на неявное знание, которое он разделяет с остальными членами своего общества» (Социальные процессы, 2000, с. 59). Иными словами, ученый утратил свой прежний статус стороннего, объективного наблюдателя, оказавшись не в меньшей степени социальным и лингвистическим творцом и конструктом реальности, чем те люди, (мнения) которых он изучает. Это позволило постмодернизму утверждать неизбежность многовари-

антного и бесконечного интерпретативного процесса и эпистемологический приоритет обыденного знания, основной формой которого и является нарратив.

В итоге нарративный анализ сфокусирован на реально имеющемся объекте изучения — любым образом зафиксированных (устно, письменно) нарративах личного опыта и иных нарративных формах эмпирических данных (схожим образом если в исследовании упоминается биографический анализ, то фактически речь идет об особом типе данных — социобиографических — и, соответственно, подвиде нарративного анализа), т. е. для констатации проведения нарративного анализа необходимо иметь в своем распоряжении совершенно конкретные «объекты» (нарративы). Если это условие выполняется, то все последующие варианты внутренней дифференциации поля нарративных исследований (Ярская-Смирнова, 1997) остаются на полное усмотрение аналитика, который может исходить как из собственных методологических приоритетов и интересов, так и целей конкретного эмпирического проекта. Можно выбрать драматический вариант нарративного анализа — «переписывание» нарративов в драматургической перспективе разыгрывания социального взаимодействия посредством смены ролей и идентичностей (Бредникова, 1997, с. 74), социолингвистический — изучение синтаксиса, семантики, речевой пунктуации и других социокультурно детерминированных лингвистических характеристик нарратива (Abu-Akel, 1999, р. 437–438) или структурный — сведение многословных повествований к логико-хронологической упорядоченности их инвариантных компонентов (Franzosi, 1998, р. 524; Labov, Waletzky, 1997), сочетая их друг с другом и применяя разнообразные приемы лингвистического, сценарного, биографического, критического дискурс-анализа или самой «количественной» версии классического контент-анализа.

Общей проблемой всех версий нарративного анализа является, во-первых, работа с транскрибированными, т. е. отредактированными, а не «аутентичными» повествованиями респондентов, а дистанция между «сырым» полевым материалом и финальной его транскрибированной версией может быть просто огромна (Brunt, 1999, р. 502). Эта проблема снимается признанием того факта, что в рамках нарративного анализа нас интересует уровень объективированного текста, а не непосредственной беседы, как, скажем, в случае конверсационного анализа. Во-вторых, выбор конкретной аналитической процедуры в значительной сте-

пени детерминирован масштабom социологического исследования, т. е. провести детальнейший построчный анализ, подробную деконструкцию нарративов личного опыта, чтобы определить доминирующие и конституирующие их типы дискурсов, мы можем только в небольших исследовательских проектах, где количество информантов («сообщений») не превышает 50. Кроме того, прежде чем переходить непосредственно к анализу транскриптов, необходимо сначала охарактеризовать их с позиции «активного слушателя» (McConrack, 2000, p. 286–288): как определяет процесс наррации сам рассказчик, пытается ли «теоретизировать», донести свою точку зрения до слушателя, убедить его в правильности своего «определения ситуации»; какие языковые (лексические, синтаксические, риторические и прочие) средства он использует, чтобы описать себя и свою жизнь; каков локальный, институциональный и социокультурный контекст конструирования нарратива.

Третья проблема состоит в том, что методические приемы прикладного нарративного анализа могут варьировать от максимально неформализованного социологического «переписывания/пересказа» нарративов личного опыта до абсолютно «количественного» контент-анализа, который, несмотря на то что является самым институционализированным методом аналитической работы с любыми текстами в социологии, в последние десятилетия несколько утратил свои позиции. Как правило, учебники разводят качественный (традиционный, интерпретативный) анализ — как совокупность операций отбора и оценки документов, восприятия и интерпретации их содержания и логического обоснования выводов на основе задач и гипотез исследования без какой бы то ни было формализации и собственно контент-анализ, или «текстуальное кодирование» (Ньюман, 1998) как строгий, объективный и жестко формализованный метод перевода текстовой информации в количественные показатели с последующей статистической обработкой и содержательной интерпретацией выявленных числовых закономерностей. Однако если исследователь не ориентируется в проблеме, объекте или предмете изучения, то не сможет сразу предложить схему кодирования и вынужден будет начинать контент-анализ с традиционного интерпретативного, т. е. последний оказывается необходимым первым этапом контент-аналитического проекта.

В последние годы появился ряд публикаций, в которых данную проблему предлагается решать посредством предельно рас-

ширительной трактовки контент-анализа, выделяя внутри метода две его разновидности (Таршис, 2002; 2012): традиционная частотная модель описывает содержание текста на основе заранее обоснованных параметров (классическое определение контент-анализа), нечастотная — открывает «формулу» содержания текста и характеризует создавшего его субъекта, причем формализация не является критерием разведения моделей — каждая может реализовываться как неформализованная обработка текстовой информации без использования каких бы то ни было количественных показателей (Таршис, 2014). Этот подход имеет право на существование, но фактически он уравнивает контент-анализ, который все же позиционируется как научный метод изучения любых текстов, «основанный на критерии воспроизводимости результатов исследования в рамках созданной методики», а не «авторское прочтение содержания текста», с прочими способами/подходами, «декларирующими себя оригинальными методами анализа текста» (Таршис, 2014, с. 14), особенно с лингвистическим анализом и близкими ему версиями (критического) дискурс-анализа (Ван Дейк, 2014).

Четвертая проблема нарративного анализа связана с тем, что по большей части объект его изучения составляет биографическая информация: первоначально социологи и историки считали ее идеальной для выяснения, что происходит на самом деле (Томпсон, 2003), но первоначальная эйфория быстро сменилась «грехопадением» — пониманием, что не существует ни одного «невинного текста», за которым последовало «покаяние» — признание, что внутри любой биографии существует каузальный нарратив, соединяющий воедино разные события описываемой жизни, и «искупление» — осознание необходимости анализа способов, с помощью которых социальные и культурные коды определяют типичные модели организации биографических данных (Руус, 1997). Конечно, речь не идет о поисках истины — только о попытке понять, насколько текст отражает социальную действительность: одни исследователи считают, что текст воспроизводит (с учетом неизбежных смещений, обусловленных самим фактом вербализации) реальные события; другие полагают, что действительность конституируется текстами, и любое повествование — всегда избирательная (ре)конструкция, почти «вымысел» (Воробьева, 1999, с. 96), но он «имеет свое субъективное обоснование, и уже в силу этого обстоятельства истинен» (Божков, 2001, с. 78).

Имеет смысл разводить типы исследовательской работы в зависимости от стоящих перед социологом задач: если он стремится подтвердить свои гипотезы, то сосредотачивается на фактографической канве нарратива, чтобы вычленив в тексте положения, подтверждающие его «теорию» (Козлова, Сандомирская, 1997; Судьбы людей, 1996, с. 412–413); если же социолог стремится к реконструкции смыслов, то детально и тщательно анализирует нарративы, пытаясь ответить на вопрос, как и почему рассказчик навязывает ему «предпочтительное» прочтение своих текстов и свой «образ мира» (Барт, 2001, с. 16). В последнем случае можно рассматривать соотношение рациональных и риторических элементов текстов (Edwards, Martin, 2004, p. 148), выделять моменты «эпифании» — особого опыта, важного события индивидуальной жизни, которое изменило ее «историю» и помогло человеку сформировать представление о самом себе (Хамфри, 1997, с. 83), обозначать фрагменты, характеризующие навыки автора осмысливать события собственной жизни, и переписывать биографию в этом ракурсе (Устная история и биография, 2004; Цветаева, 1999), разбивать рассказ информанта на блоки в соответствии с предложенными им или вычлененными исследователем тематизациями (Мещеркина, 2004; Семейные узы, 2004), социологически пересказывать нарратив с помощью метафоры «сценария» как принимаемого или, наоборот, отвергаемого автором набора адекватных культуре нормативных образцов поведения в определенной сфере повседневных практик (Гендерные тетради, 1999; Козлова, 1999) и т. д.

В последние годы в социологии отчетливо оформились предметные области, в которых обращение к понятию нарратива стало обычной практикой социологических исследований. Так, социология знания рассматривает научный текст как компонент литературного процесса со всеми его жанровыми и функционально-стилистическими особенностями, чтобы выявить отраженную в нем социально институционализированную иерархию ценностей и объяснить процесс коллективного производства знания в ходе научной коммуникации (Воробьева, 1999, с. 98). Военная социология обращается к нарративам для «анализа военной тематики на уровне повседневности» (Кьяри, 1996, с. 248) и избавления общественности с помощью биографических свидетельств от стереотипов и мифов. В социологии массовой коммуникации новости рассматриваются как нарратив (Дерябин, 1998), потому что в любом новостном сюжете можно выделить

главных и второстепенных «героев» и «злодеев», обнаружить последовательное развитие действия по привычным для аудитории сценариям с началом, серединой, концом и драматическими поворотами, призванное формировать у аудитории совершенно конкретное, оценочное и упрощенное представление о сложных социально-политических событиях (Vincent, 2000). Для этого необязательно открыто навязывать зрителям/слушателям некое мнение — само по себе соединение событий в некую логическую последовательность, структурирование действий в терминах мест и людей «помогает» аудитории атрибутировать действующим лицам определенные мотивы, а изначально фрагментированным и случайным кадрам — определенный смысл (Labov). Исследования бедности (Ярошенко, 1994) с помощью нарративного анализа показывают этот социальный феномен не столько как отсутствие материальных возможностей, сколько как стиль жизни: в условиях постоянной нужды люди вырабатывают устойчивые ценности и модели поведения «безвластных» и «безгласных», которые социально наследуются и подчеркнута отличаются от общепринятых (Коетцы, 2002, с. 28). Вероятно, самая важная область применения нарративного анализа — это изучение практик социального исключения, социокультурное исследование нетипичности как реальности, в которой вынуждены жить люди с особой внешностью, возможностями, потребностями и опытом переживания повседневности (Ярская-Смирнова, 1997; 1999; 2002).

Дискурс-анализ — столь же многозначный термин, как и нарративный анализ, который обозначает совокупность разнообразных междисциплинарных направлений текстового анализа, объединенных только фокусом интереса (предмет изучения — некий дискурс) и требованием обязательного учета контекста создания и существования любого текста (социального, культурного, политического, группового и др.). Основной постулат дискурс-анализа — отказ от разделения формы и содержания: социальная реальность конструируется лингвистически, поэтому необходимо изучать создающие ее «социальные тексты», помня, что они репрезентируют не столько действительность вокруг нас, сколько способ ее видения и описания индивидами. Чтобы представить единство текста с не-дискурсивной реальностью, дискурс-анализ оперирует понятиями регистра (выбор языковых средств в зависимости от социальных условий общения), когезии (средства связи между элементами текста в поверхност-

ной структуре) и когерентности (логическая и смысловая связность элементов текста); разводит устный и письменный дискурсы как альтернативные формы «языка» — «дискурс реально существует не в виде своей грамматики и лексики, как язык, а в таких текстах, за которыми встает особая грамматика, лексикон, правила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, — в конечном счете — особый мир, ...где действуют свои правила синонимичных замен, свои правила истинности, свой этикет» (Степанов, 1998, с. 670, 676).

Многозначность понятия «дискурс», которое затрагивает разные аспекты текстовой и экстралингвистической реальности, породила множественность подходов в рамках дискурс-анализа, различающихся фокусом исследовательского интереса и не особенно озабоченных проведением четких демаркационных линий между собой. Тем не менее, можно выделить две базовые на сегодняшний день попытки структурировать поле дискурсивных исследований. Во-первых, это три «традиционные» версии дискурс-анализа: концепция М. Фуко считается наиболее «социологической», потому что дискурс здесь — идеологически обусловленный стиль или способ «говорения»; версия дискурс-анализа Т. А. ван Дейка — «лингвистической», поскольку дискурс трактуется как структурирующий принцип любого коммуникативного взаимодействия; вариант Р. Барта — самым «семиологическим» дискурс-анализом, основанным на понятии мифа. Для Фуко (1996, с. 52, 65), дискурс — прежде всего, способ подчинения и контроля за счет внешних процедур исключения (запретов, оценок безумия/бессмысленности дискурса) и внутренних процедур классификации и упорядочивания (комментарии, авторство, дисциплина). Ван Дейк (1989, с. 45–60) трактует дискурс-анализ как способ извлечения из текста смысловых блоков и фрагментов (стереотипных тематических репертуаров) согласно априорно заданным исследователем задачам, их сравнение и обобщение в систему категорий, которые суммируют идеологическую позицию автора (используемую им повествовательную схему доказательства правильности собственного «определения ситуации»). Для Барта (2000, с. 234) мифом может стать все, что покрывается дискурсом и имеет адресный характер, поэтому распознаванием (чтением) и анализом (дешифровкой) мифов занимается семиология — наука о «знаках и знаковости». Объединяет «традиционные» варианты дискурс-анализа убеждение в дискурсивном конструировании социального мира и ориента-

ция «не на сопоставление семантических систем и реальности, а на изучение практик описания мира» (Edwards, 1997, p. 45).

Другой вариант структурирования поля дискурсивных исследований выделяет из всего множества разнообразных подходов наиболее эффективные для изучения сложных взаимосвязей коммуникации, культуры и общества (Филлипс, Йоргенсен, 2004). Так, теория дискурса Э. Лаклау и Ш. Муфф утверждает, что социальные и физические объекты даны нам только через системы дискурсивных значений, т. е. мы живем в мифическом мире, придерживаясь искаженных представлений о действительности, поэтому цель дискурс-анализа — очертить процессы создания и закрепления значений, посредством которых конституируется общество. Дискурсивная психология — наиболее эмпирически ориентированный подход, исследующий использование языка в социальном взаимодействии, конкретно — риторические приемы бытового дискурса. Критический дискурс-анализ Н. Фэйркло подчеркивает активную роль дискурса в конструировании социального мира, но четко отделяет дискурс от не-дискурса и дискурс как отдельное коммуникативное событие (политические дебаты, фильм и т. д.) от порядка дискурса как конфигурации всех типов (медицинский, политический и пр.) и жанров (разговор, новости и т. п.) в рамках определенного социального института (суд, больница, парламент) или области (телевидение, образование, политика) и подчеркивает неотстраненный характер критического дискурс-анализа — это не просто объективное эмпирическое исследование употребления языка в социальном взаимодействии, но отстаивание интересов притесняемых (посредством дискурсивных практик) групп.

Таким образом, в рамках дискурс-анализа мы пытаемся либо обнаружить в текстах «свидетельства» приверженности их авторов определенному дискурсу (расистскому, антилиберальному, пророссийскому, националистическому и пр.), либо реконструировать доминантный дискурс, скажем, биографических повествований представителей определенного поколения (Цветаева, 1999). Если я тем или иным способом «ищу» в текстах конституирующий и структурирующий их дискурс, то тип данных мало что определяет: можно работать и с вербальными, и с невербальными (фотографии) «сообщениями» (Барт, 2000, с. 244). Наиболее эмпирически продумана и применима модель дискурс-анализа, предложенная Н. Фэйркло (Fairclough, 1993): 1) выбор проблемы (объяснительная критика несправедливого положения дел); 2)

формулировка проблемы (описание социальной практики как конституируемой дискурсивно); 3) отбор материалов (при необходимости конструирование выборки текстов и транскрибирование записей интервью с заданной степенью детализации); 4) трехуровневый дискурс-анализ — практики производства «сообщений», лингвистических характеристик текстов и социальной практики, используя любые приемы лингвистического анализа и контент-аналитические процедуры; 5) подготовка отчета, где должна быть указана последовательность шагов, с помощью которой исследователь пришел к приведенным в отчете интерпретациям, чтобы заинтересованный читатель мог при желании воспроизвести ее.

Что касается семиотического подхода, то сегодня сложно говорить о неких общих основаниях разнообразных направлений семиотики: не обозначена суть семиотического подхода, не выделены критерии строгости семиотических понятий (синонимично употребляются последовательности выражение-знак-обозначающее-означающее-имя и обозначаемое-денотат-предмет-объект-вещь), не решена проблема дисциплинарных оснований семиотики (логика, языкознание, психология, культурология и т. д.) (Розин, 2000, с. 66–67). Однако именно семиотический подход наиболее эвристичен для изучения не-вербальных «текстов». Так, с социологической точки зрения практику дарения цветов можно считать ритуалом и в контексте ритуализма анализировать в ней соотношение форм и содержания. Например, дарение цветов на знаменательные события связано с ритуалом инициации, когда индивид переходит на новую ступень социальной жизни (оканчивает институт, школу, становится родителем, женится и т. д.). К концу XIX — началу XX века традиционная цветочная символика («смыслы» разных букетов) трансформировалась во вполне устойчивые правила (можно говорить о некоторой институционализации «языка цветов») — дарение цветов стало частью этикета, цветы утратили роль «скрытого» средства коммуникации, начав выполнять нормативную функцию (ритуалы дарения цветов на свидание и свадебную церемонию). Сегодня, несмотря на утрату прежних кодов (Клименкова, 2013), российская флористика разработала новую символику цветов, которая сочетает в себе элементы народных и дворянских кодификаций как России, так и других стран: например, раньше белые розы обозначали, что влюбленный считает, что у девушки черное, черствое сердце, теперь это символ чистоты. Впрочем,

единственное, на что обязательно обращают внимание практически все россияне сегодня, — количество цветов: существует устойчивое коллективное представление, что только покойнику можно приносить четное число цветов, а живым следует дарить нечетное.

В России ритуал дарения не просто цветов, а оформленных букетов, зародился лишь в XIX веке, хотя истории аранжировки цветов множество веков, и первые правила составления букетов в Европе возникли еще во Франции XVII века: дарение цветов жителям городов (в частности известным пожилым дамам) использовала в репутационных целях Екатерина II; в то же время возник ритуал дарения букетов в дни именин; позже букеты полевых и садовых цветов стали преподносить без официального повода, по случаю, т. е. очевидно разделение типов цветов для официальных ритуалов и с целью оказания знака внимания. Конечно, все описанные практики дарения цветов в основном использовались дворянами, в послереволюционную эпоху дарение цветов стало обычной повседневной практикой, но идеология социального равенства привела к тому, что выбор цветов стал весьма скудным, и основными «советскими» цветами стали красная гвоздика, гладиолусы, сирень, мимозы, нарциссы, тюльпаны и те растения, что можно было легко вырастить в саду. В эпоху социализма больше ценились не сами цветы, а факт цветочного подношения (бытовавшая прежде цветочная символика полностью исчезла и возродилась лишь в последние десятилетия). Однако эпоха СССР не только изменила практику дарения цветов, но и создала для нее новые поводы (Рольф, 2009): Новый год, 9 мая, 8 марта, 7 ноября, 23 февраля, 1 сентября и др. Советские праздники породили новую цветочную символику: красная гвоздика стала символом победы большевиков, этот цветок можно было дарить по любому поводу, выражая тем самым солидарность с идеями нового государства. С 1965 года день 8 марта стал официальным выходным, и советское правительство рекомендовало мужчинам дарить женщинам подарки, и цветы считались как бы символом признания мужчинами равноправия женщин. С началом перестройки в России постепенно происходит возврат к прежним, зачастую забытым ритуализированным практикам, но они смешиваются с новыми ритуалами, поэтому дарение цветов в современном российском обществе включает в себя как ново-созданные ритуалы, так и те, чья история насчитывает несколько десятилетий и даже веков: дарение цветов становится «жес-

том, который кажется добровольным, но на самом деле является обязательным» (Мосс, 1996, с. 85).

Семиотический анализ хорошо работает и в социологическом изучении одежды: потребления одежды, в том числе с учетом особенностей социально-демографических групп (как влияет статус, профессия, пол и т. п. на стиль потребления); семантики современного костюма и одежды иных исторических эпох (одежда как «текст» — набор определенных символов, кодов и знаков, правила считывания которых задаются культурой); роли одежды в системе социальной (гендерной и властной) стратификации и «идентификации» (как костюм создает образ человека и маркирует его социальное положение); феномена моды в одежде (истоки моды, ее правила и влияние на внешний вид). Так, по сравнению с предыдущими эпохами в современном обществе заметно усилились следующие тенденции в одежде: стремление к самовыражению, индивидуализации и единству с природой (эко-одежда), желание быть своим среди «своих», подчеркивание возрастных различий и особенностей специализированной одежды (для отдыха, сна, работы, вечера и т. д.), маркировка субкультурных отличительных черт. Сохранилась и дифференцирующая функция одежды, хотя подчеркивание костюмом социального статуса сегодня уже не столь резко, как в прежние эпохи: о социальном статусе говорит форма, качество одежды, соответствие определенному образу, бренд, но в целом одежда стала более демократичной, людей больше интересуют комфорт и удобство (Quinn, 2002, p. 199).

Современная одежда способна регулировать ролевые конфликты: помогает нивелировать разницу ролей, подстраиваясь под индивидуальные возможности человека, делая его «универсальным» героем, который может успеть все и везде в одной функциональной одежде (Nathan, 1968, p. 178). Одежда позволяет человеку чувствовать себя «в своей тарелке» в любом месте, но для этого приходится следовать определенным дресс-кодам — закрытых вечеринок, балов, научной лаборатории, делового совещания, даже выставки современного художника или фотографа, куда лучше надеть вещи авангардных дизайнеров и продемонстрировать, что ты в «теме». Чтобы легче ориентироваться в мозаичном обществе, в массовом сознании стали складываться своеобразные стереотипы, основанные на внешнем виде человека, например, «синий чулок», «стерва», «ботаник», «золотая молодежь», «офисный планктон» и т. д., т. е. коды одежды позволя-

ют визуально «отсортировать» людей, определяя дальнейшее общение и сотрудничество (собеседование при приеме на работу, знакомство на улице и т. д.), благодаря особому коммуникативному коду костюма. Конечно, внешний вид не всегда совпадает с реальным положением дел, но одежда помогает передать внутренние ощущения и стремление человека заявить о себе или, наоборот, скрыться. Возможность в самопрезентации посредством одежды появилась сегодня у всех возрастных групп, но особенно жаждут «показать себя» подростки и молодежь, поэтому столь распространены различные субкультуры, которые отличаются, прежде всего, внешним видом, одеждой: черные готы с тяжелыми ботинками и цепями, панки с рваными штанами и рубашками, проколотыми носами, ушами, ирокезами вместо волос и т. д.

Сложное сочетание дискурсивного, нарративного и семиотического подходов используется сегодня в изучении фотографических практик (Троцук, 2014). В начале XX века фотография полноправно входит в науку не только в иллюстративно-вспомогательных целях антропологического и социологического поиска, а как «деликатная эмпирия, ставшая настоящей теорией», поскольку соотношение в ней эстетических признаков (фотография как искусство) и социальных функций сместилось в пользу последних (Беньямин, 2013). Завершается становление фотографии в качестве неотъемлемой части современной жизни включением в нее подписей, втягиванием фотографии «в процесс олитературивания всех областей жизни» — без текстов фотографическая конструкция считается и действительно остается незавершенной, они определяют возможности ее рассмотрения как нарратива, «нужный» вектор интерпретации которого нам и подсказывает авторская подпись. Фотография сегодня обретает гиперсоциальные характеристики, вмешиваясь в судьбу человека: «вооруженные своими машинами, фотографы должны атаковать действительность, которая представляется непокорной, лишь обманчиво доступной, нереальной», а, значит, будут жертвы: это может быть не только фотограф, погибнувший, выполняя свою работу, — «тяжелые события, запечатленные на фотографии, могут воздействовать на человека болезненнее, чем в живом виде», т. е. смотрящий на фотографию становится «жертвой», «зрителем в квадрате», так как события были запечатлены помимо его воли, и он никак не может повлиять на близость и ракурс их рассмотрения (Сонтаг, 2013).

Социальные функции фотографии таковы (Сонтаг, 2013): функция памяти — фотография «позволяет внимательно рассмотреть мгновение, которое немедленно смывалось бы потоком времени»; овладения пространством и временем, «превращение опыта в изображение, в сувенир»; «самонаблюдения» — благодаря фотографии можно автобиографически «посмотреть на себя со стороны», зафиксировать «статусные» достижения, подтвердить принадлежность определенной группе и «престижное потребление»; (само)презентации — фотографируясь, человек фиксирует «вехи» личной истории и укрепляет свою идентичность; познания и развлечения — благодаря фотографиям мы узнаем новости и приобщаемся к мировой культуре. Эти функции превратили фотографию, в силу ее повсеместности и общедоступности, в нормативную практику, которой владеют все, как и нарративной компетентностью, обретаемой по мере взросления в ходе социализации (Штомпка, 2007, с. 72). Фотографию можно трактовать по аналогии с нарративом — как «текст о» действительности, «прозрачность» которого обусловлена вращением человека с детства в репертуар визуальных изображений своей культуры и усвоением способов конструирования реальности посредством фотографирования и интерпретации его результатов. Фотография как нарратив — ансамбль приемов презентации образов, «передаваемых культурно-исторически, ограниченных уровнем мастерства каждого индивида и смесью его социально-коммуникативных способностей с лингвистическим/фотографическим мастерством... причем локальный репертуар нарративных форм переплетается с более широким культурным набором дискурсивных порядков, которые определяют, кто какую историю/фотографию рассказывает/делает, где, когда и кому» (Брокмейер, Харре, 2000, с. 30). В русле семиотических исследований можно пытаться «дешифровать» заложенные в визуальных обыденно-привычных «текстах» (фотографиях) интенции автора и возможные реакции аудитории на них.

Таким образом, в социологии вот уже, по крайней мере, на протяжении двух с половиной десятилетий понятия «нарратив» и «нарративный анализ», «дискурс» и «дискурсивный анализ», «текст», «контекст», «знаки» и «семиотический анализ» стали весьма популярны, но до сих пор трактуются достаточно произвольно, исходя из концептуальных и методических предпочтений исследователя, а также стоящих перед ним целей и задач прикладного или фундаментального характера. Несомненно,

необходимо выработать четкие критерии хотя бы номинации разных форматов исследовательской работы с текстовыми данными — иначе мы рискуем получать не научные статьи, а «оригинальные дискурсивные коллажи», искусно жонглирующие многозначной и разнообразной терминологией текстового анализа.

-
- ЛИТЕРАТУРА Барт, Р. (2001). *S/Z* / Пер. с фр.; под ред. Г. К. Косикова. М.
- Барт, Р. (2000). *Мифологии*. М.
- Беньямин, В. (2013). *Краткая история фотографии*. М.
- Божков, О. Б. (2001). *Биографии и генеалогии: ретроспективы социально-культурных трансформаций*. Социологический журнал, 1.
- Бредникова, О. (1997). «Семейная» и «коллективная» память (способы конструирования этнической идентичности). У В. Воронкова и Е. Здравомысловой (Ур.), *Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ: Материалы межд. семинара*. СПб: Труды ЦНСИ.
- Брокмейер, И., Харре, Р. (2000). *Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы*. Вопросы философии, 3.
- Бутенко, И. А. (2000). *Постмодернизм как реальность, данная нам в ощущениях*. Социологические исследования.
- Ван Дейк, Т. А. (1989). *Язык. Познание. Коммуникация*. М.
- Ван Дейк, Т. А. (2014). *Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации*. М.
- Воробьева, А. В. (1999). *Текст или реальность: постструктурализм в социологии знания*. Социологический журнал, 3–4.
- Гендерные тетради. (1999). СПб.
- Дерябин, А. (1998). *Телевизионные новости как коммуникативное событие*. Дискурс, 7.
- П. Серио (ур.), (2002). *Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса*. М.
- Клименкова, А. М. (2013). *Культурные коды как факторы формирования ценностных ориентаций*. Вестник РУДН. Серия «Социология», 3.
- Коеццы, Я. (2002). *Жизнь на периферии: потребность в промежуточных шагах на пути радикальной трансформации общества*. ИНТЕР, 1.
- Козлова, Н., Сандомирская, И. (1997). «Наивное письмо» и производители нормы. У В. А. Кругликова (Ур.), *Коллаж: социально-философский и философско-антропологический альманах*. М.

- Козлова, Н. Н. (1999). «Повесть о жизни с Алешей Паустовским»: социологическое переписывание. Социологические исследования, 5,
- Козлова, Н. Н. (2000). Социологические чтения «человеческих документов», или размышления о значимости методологической рефлексии. Социологические исследования, 9,
- Копосов, Н. Е. (1997). Замкнутая вселенная символов: к истории лингвистической парадигмы. Социологический журнал, 4,
- Кузнецов, А. М. (2000). Антропология и антропологический поворот современного социального и гуманитарного знания. Личность. Культура. Общество, 2(1),
- Къяри, Б. (1996). Устные свидетельства Второй мировой войны. Социологический журнал, 3-4,
- Луман, Н. (2004). Общество как социальная система. М.
- Мосс, М. (1996). Очерк о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах. У Мосс М. Общества. Обмен. Личность. М.
- Ньюман, Л. (1998). Неопросные методы. Социологические исследования, 6.
- Пригожин, И. (1991). Философия нестабильности. Вопросы философии, 6.
- Розин, В. М. (2000). Возможна ли семиотика как самостоятельная наука (методологический анализ семиотических подхода и исследований). Вопросы философии, 5,
- Рольф, М. (2009). Советские массовые праздники. М.
- Руус, Й. П. (1997). Контекст, аутентичность, референциальность, рефлексивность: назад к основам автобиографии. У В. Воронкова и Е. Здравомысловой (Ур.), Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ: Материалы межд. семинара. СПб: Труды ЦНСИ.
- Ушакин, С. (2004). Семейные узы: Модели для сборки. М. Сб. ст. Кн.1.
- Сонтаг, С. (2013). О фотографии. М.
- Степанов, Ю. С. (1998). Язык и метод. К современной философии языка. М.
- Судьбы людей: Россия XX век: Биографии семей как объект социологического исследования. (1996). М.
- Таршис, Е.Я. (2012). Исторические корни контент-анализа: Два базовых текста по методологии контент-анализа. М.
- Таршис, Е.Я. (2014). Контент-анализ: принципы методологии (Построение теоретической базы. Онтология, аналитика и феноменология текста. Программы исследования). М.

- Таршис, Е.Я. (2002). Перспективы развития метода контент-анализа. Социология, 4(15).
- Томпсон, П. (2003). Голос прошлого. Устная история. М.
- Троцук, И. (2014). Нарративность визуального, или о пользе несоциологического чтения. Социологическое обозрение, 13(1).
- Троцук, И. В. (2014). О природе фотографического изображения. Вестник РУДН. Серия «Социология», 3.
- Мещеркина, Е.Ю. (2004). Устная история и биография: женский взгляд. М.
- Филлипс, Л. Д., Йоргенсен, М.В. (2004). Дискурс-анализ. Теория и метод. Х.
- Фуко, М. (1994). Слова и вещи. СПб.
- Фуко, М. (1996). Порядок дискурса. М.
- Хамфри, Р. (1997). Эпифании и социальные карьеры: влияние решающих моментов жизни на биографию. У В. Воронкова и Е. Здравомысловой (Ур.), Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ: Материалы межд. семинара. СПб: Труды ЦНСИ.
- Цветаева, Н.Н. (1999). Биографический дискурс советской эпохи. Социологический журнал, 1-2.
- Штомпка, П. (2007). Визуальная социология. Фотография как метод исследования. М.
- Ярошенко, С.С. (1994). Синдром бедности. Социологический журнал, 2.
- Ярская-Смирнова, Е. (2002). Социальные изменения и мобилизация ресурсов: жизненные истории российских инвалидов. ИНТЕР, 1.
- Ярская-Смирнова, Е.Р. (1997). Нарративный анализ в социологии. Социологический журнал, 3.
- Ярская-Смирнова, Е.Р. (1997). Социокультурный анализ нетипичности. Саратов.
- Ярская-Смирнова, Е.Р. (1999). Социальное конструирование инвалидности. Социологические исследования, 4.
- Abu-Akel, A. (1999). Episodic boundaries in conversational narratives. *Discourse Studies*, 1,
- Fairclough, N. (1993). Critical discourse analysis and the marketization of public discourse: the universities. *Discourse & Society*, 4.
- Franzosi, R. (1998). Narrative analysis: Or why (and how) sociologists should be interested in narrative. *Annual Review of Sociology*, 24, 517-54.
- Labov, W. . Uncovering the event structure of narrative. Preuzeto sa <http://www.ling.upenn.edu/~labov/uesn.pdf>

Labov, W., & Waletzky, J. (1997). Oral versions of personal experience: Three decades of narrative analysis. *Journal of Narrative and Life History*, 7, 3–38.

Löfgren, L. (1981). *Life as an autolinguistic phenomenon*. U M. Zeleny (Ur.), *Autopoiesis: A Theory of Living Organization*. New York.

Mccormack, C. (2000). From interview transcript to interpretive story: Part 1 – Viewing the transcript through multiple lenses. *Field Methods*, 12(4).

Nathan, J. (1968). *Uniforms and Nonuniforms. Communication through Clothing*. N. Y.

Quinn, B. (2002). *Techno Fashion*. Oxford and N.Y.

Vincent, R.C. (2000). A narrative analysis of US press coverage of Slobodan Milošević and the Serbs in Kosovo. *European Journal of Communication*, 15(3), 321–344.

IRINA V. TROTSUK

PEOPLES' FRIENDSHIP UNIVERSITY OF RUSSIA
DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

SUMMARY 'TEXTS' AND 'SIGNS': CRITERIA FOR CHOOSING AN ANALYTICAL APPROACH

At least for two and a half decades the concepts 'narrative' and 'narrative analysis', 'discourse' and 'discourse analysis', 'text', 'context', 'signs' and 'semiotic analysis' have become extremely popular in humanities and social sciences but still have not received precise definitions and are interpreted quite arbitrary based on the conceptual and methodological preferences of the researcher, as well as the goals and objectives of the particular applied or fundamental sociological research project. The author proposes a way to structure the field of textual analysis in sociology that goes far beyond even the broadest interpretations of the content analysis method. Undoubtedly, we need to develop clear criteria for at least the correct naming of different formats of analytical work with textual data; otherwise, we run the risk of writing not scientific articles but rather 'original discursive collages' skillfully juggling an ambiguous and diverse terminology of textual analysis.

KEY WORDS: texts; signs; social practices; narrative; narrative analysis; discourse; discourse analysis; content analysis; semiotic analysis.